

А. П. НЕПОКУПНЫЙ

ПРУССКИЕ СЛАВИЗМЫ И ЛЕКСИКА КАШУБСКИХ И ВАРМИНСКО-МАЗУРСКИХ ГОВОРОВ ПОЛЬСКОГО ЯЗЫКА

0.1. Исследуя прусский язык, мы должны помнить слова Дж. Бонфанте о том, что каждый из мертвых языков „продолжает жить сотнями окольных, скрытых и тонких способов в ныне живущих языках“¹. Один из путей обнаружения этой, так сказать, „посмертной жизни“ предлагает лингвистическая география. Подобно тому, как для понимания отдельного слова, немало дает тот контекст, из которого оно взято, так и для изучения исчезнувшего языка большое значение имеет изоглоссный контекст его и ныне здравствующих лингвистических соседей. В частности, для бывшего прусского языкового ареала в роли последних выступают кашубские и варминско-мазурские говоры польского языка. При этом мы имеем в виду не поиски балтизмов в польских окрестностях древних прусских земель, а изучение в них географии тех славизмов (или, частично, германизмов), которые были запечатлены на немногих страницах прусской письменности.

0.2. Тема лингвистических связей древних пруссов с непосредственно соседствующими с ними говорами польского языка была затронута в наиболее обстоятельной работе на тему польско-пруссских языковых контактов — специальном разыскании Т. Милевского². Основные взгляды польского ученого в плане лингвогеографии прусских славизмов можно сформулировать в следующих пяти тезисах.

(1) В средние века пруссы граничили только с польско-поморскими племенами, и потому, за исключением нескольких восточнославянизмов, основная масса прусских слов славянского происхождения была заимствована из лехитских диалектов (Mil. 21–22).

(2) Для большинства лехитских заимствований не следует ставить вопрос о дифференциации их на польские и поморские, поскольку во времена их проникновения в прусский язык различия между обеими диалектными группами были незначительны, да и наши знания о них весьма ограничены (Mil. 22–23).

¹ G. Bonfante, *The neolinguistic position*, — Lg XXIII 4 (1947) 357.

² T. Milewski, *Stosunki językowe polsko-pruskie*, — Słoc XVIII (1947) 21-84 (далее — Mil.).

(3) Тем не менее несколько прусских славизмов имеют несомненно поморское происхождение. К таким, в частности, вероятно относится прус. *swintian* E. 682 „свинья“ из кашубского *swinča*, на что указывает соответствие среднего рода в прусском и кашубском слове (Mil. 23).

(4) Имея ввиду деление прусского языка на два основных диалекта — помезанский и самбийский, можно предполагать, что в средние века Помезания как западная периферия прусского ареала, непосредственно граничившая с Поморьем, была больше пронизана лехитскими влияниями, чем Самбия: за исключением одного-единственного слова, вся лексика поморского происхождения известна нам только из Эльбингского словаря, т.е. в помезанском диалекте прусского языка (Mil. 24–25).

(5) Помимо Помезании как посреднике в распространении лехитских слов из Поморья в Самбию существовали и другие пути их экспансии, как например, прямо из Польши через Поозерье — Мазурское и, частично, Восточнопоморское, — составлявшее южную границу пруссов (Mil. 26).

Последние три тезиса имеют самое непосредственное отношение к теме данной статьи, поскольку они говорят о прусских славизмах, так или иначе связанных с ареалом кашубских и варминско-мазурских говоров польского языка. В особенности для нашей темы важен пример непосредственного прусско-кашубского сопоставления (*swintian* — *swinča*).

0.3. Мысль об исследовании кашубско-прусских языковых связей возникла у автора этих строк еще в сентябре 1961 г., когда вместе с польскими коллегами — З. Тополинской, Я. Майовой, Я. Сятковским и другими собирателями и исследователями кашубских говоров он участвовал в диалектологической экспедиции „на Кашубах“³. За время, прошедшее с тех пор, кашубистика обогатилась фундаментальнейшими работами, какими являются „Atlas językowy kaszubszczyzny i dialektów sąsiednich (коллектив авторов из Института славяноведения Польской Академии наук) и „Słownik gwar kaszubskich“ (автор В. Sychta). Благодаря этому обстоятельству появилась объективная „материальная“ предпосылка для осуществления давнего замысла, попыткой частичной реализации которого и является предлагаемая ниже статья.

1. Прус. *birgakarkis* E. 358 „kelle“, т.е. „большая разливательная ложка“.

Вторую часть этой композиты *-karkis* А. Брюкнер отождествил с польск. *korzkiew* „то же“⁴. Э. Бернекер считал, что реконструируемое из прусской

³ Ср. использование материалов записей из д. Вежхоцины (гмина Боровы-Млын, повят Хойнице) в книге: А. П. Непокупный, Ареальные аспекты балто-славянских языковых отношений, Киев, 1964, 64.

⁴ А. Brückner, Preußisch und Polnisch, — AfsI Ph XX 4 (1898) 497 (далее — Brück.).

формы **karikis* может отражать слав. *korьćь*⁵. В отличие от славянских версий А. Беценбергер предполагал здесь *karke* „Becher“ — нижненемецкую деминутивную форму от *kar*⁶. Я. Эндзелин солидаризовался с А. Брюкнером, отвергнув мнения как А. Беценбергера, так и Э. Бернекера⁷. Наконец, Т. Милевский, поддержав и развив этимологию А. Брюкнера, писал, что прус. *-karkis* было заимствовано, по-видимому, между XII и XV вв. из древнепольск. **korzky*, ср. древнепольск. *korzkiew* „разливательная ложка“ (от *kora* как *korzec*) (Mil. 32 и 43). Остается прибавить, что древнейшая фиксация интересующего нас термина — в форме *korzkyew* „черпак, служащий для зачерпывания воды, строительного раствора и т. п.“ — относится ко времени около 1500 г.⁸

В настоящее время можно привести дополнительные данные в пользу этимологии А. Брюкнера — Т. Милевского. В качестве аргумента против сближения прус. *-karkis* с польск. *korzkiew* Я. Эндзелин выдвинул формальное несовпадение (Endz., там же). Однако позже Т. Милевский реконструировал древнепольск. **kořky* (< праслав. **kořьky*) как форму, которая непосредственно была заимствована древними пруссами, хотя в самом польском языке в таком виде не сохранилась, развившись в суффиксальное производное *korzkiew* (Mil. 43). Теперь именно это реально отсутствующее звено между прусским и польским терминами предоставляет в наше распоряжение полабский язык. В изданных в 1860 г. полабских словарных записях Христиана Хеннига как соответствие тому же, что и в Эльбингском словаре, термину *Kelle* приведены формы: *Tyêrtge*, вин. п. *Tyêrkung*, *Tjêrtge*, *Tjêrtge*, вин. п. *Tjerkung*, *Tyerkung*⁹. Как пишет В. Шыдловска-Цеглева, „речь идет о названии предмета, который делается из коры, а именно черпака *t'örkò* (**korkò* вин. ед.), *t'ört'ě* (**korky* род. ед.). Это название очень близко польск. *korzkiew*“¹⁰. Таким образом, полабск. **korka* „Kelle“ по своей форме является ближайшим славянским соответствием прус. *-karkis* „то же“. Этот пример, в дальнейшей перспективе приглашая к продолжению поисков новых прусско-полабских лексических параллелей, в плане нашей ближайшей задачи оказывает серьезную поддержку версии А. Брюкнера — Т. Милевского о связи прус. *-karkis*

⁵ E. Berneker, *Slavisches etymologisches Wörterbuch*, I, Heidelberg, 1908—1913, 579.

⁶ A. Bezenberger, *Altpreussisches*, — *KZ L* (1922) 151.

⁷ J. Endzelīns, *Senprūšu valoda*, Rīgā, 1943, 151 (далее — Endz.).

⁸ *Słownik staropolski*, III, Wrocław—Warszawa—Kraków, 1962, 353 (далее — SSt).

⁹ B. Szydłowska—Ceglowa, *Obróbka surowców u Drzewian połabskich w świetle забыткów języка połabskiego*, — *Studia z filologii polskiej i słowiańskiej*, 4, Warszawa, 1963, 69 (далее — SFPS).

¹⁰ Там же, 44.

с польск. *korzkiew*. Остается рассмотреть географию этого термина в говорах польского языка и прежде всего в тех, что соседят с бывшим прусским ареалом.

По данным „Лингвистического атласа кашубщины и соседних диалектов“ термин *korzkiew* „большая деревянная ложка“ употребляется в северных и частично средних районах кашубских говоров (см. карту)¹¹. При этом характерно то, что *korzkiew* — это „неизвестный другим польским говорам кашубский лексический архаизм“¹². Однако поскольку мы пытаемся перебросить мост между польскими и прусскими говорами, то для нас большое значение представляют сведения из исторической диалектологии польского языка, которые в хронологическом отношении ближе к „исходным“ прусским данным, чем современные материалы и современная география слов. В этом смысле для избранной темы принципиально важно проведенное Г. Поповской — Таборской сопоставление ареалов одних и тех же слов в XVI и XX вв. Оказывается, что несколько терминов, которые Бартоломей из Быдгоща охарактеризовал в своем рукописном латинско-польском словаре 1532 г. как „*Bidgostia natus*“, т. е. употреблявшиеся в то время в Быдгоще и его окрестностях, теперь уже на этой территории неизвестны, и их современное распространение ограничивается только кашубскими или даже исключительно севернокашубскими говорами¹³. В перечне этих слов встречается и *korzkiew*¹⁴. Констатируя сокращение ареалов отдельных слов за счет севернопольских диалектных территорий, сужение географии слов до кашубского региона, Г. Поповская — Таборская предостерегает против интерпретации таких и подобных им слов „как лексических кашубизмов“¹⁵.

Таким образом, находя в современных кашубских говорах те или иные соответствия прусским славизмам, мы обязательно должны хронологическую разницу между сопоставляемыми фактами компенсировать географическим расширением и оперировать в своих реконструкциях территорией не только кашубских, но и соседних диалектов Нижнего Повислья к северу от Торуня и Быдгоща, как она представлена в названном атласе.

Такое расширение реконструируемой географии слов, с одной стороны, отчасти сближается с тезисом Т. Милевского, что для большинства прусских заимствований не следует ставить вопрос о дифференциации их на польские

¹¹ Atlas językowy kaszubszczyzny i dialektów sąsiednich, VIII 1, Wrocław—Warszawa—Kraków—Gdańsk, 1971, карта 384 (далее — АЖК).

¹² Там же, II 192.

¹³ Н. Popowska — Taborska, Z badań nad dawnymi i obecnymi zasięgami terytorialnymi wyrazów, — JP XLII 4 (1962) 282.

¹⁴ Там же.

¹⁵ Там же, 284.

и поморские [см. 0.2. (2)]. Однако, с другой, сближение сопоставляемых фактов во времени является тем самым и сближением в пространстве, поскольку с бывшим прусским ареалом непосредственно граничат не кашубские, а соседние с ними диалекты левобережной части Нижнего Повислья¹⁶. Именно из этого ареала, вероятнее всего, и проник в помезанский диалект прусского языка термин — *karkis*.

2. Прус. *lisytyos* (им. множ.) Е. 545 „notstal“, т. е. „крепкие деревянные стойки, между которыми помещают коней, чтобы они спокойно стояли, когда их подковывают“. Вслед за К. Паули существует уже столетняя традиция считать, что в основе этого прусского термина лежит польск. *lesica* „решетка, препятствие при скачках“. Для фонетической стороны сопоставления — прус. *t* для передачи польск. *s* — А. Брюкнер сослался на аналогию: прус. *garkity* из польск. *gorczyca* (Brück. 502). Что же касается формы *plurale tantum* вместо единственного числа в „оригинале“, то, вероятно, именно это имел в виду Я. Эндзелин, когда писал, что в прусском языке форма польского слова была подогнана к какому-то другому слову (Endz. 205).

Древнейшие примеры фиксации термина *lesica* в памятниках польского языка датируются временем около 1500 г.: *leszycza, lyeszycza* — 1. „корзинка, плетенка для выжимания и сушения сыра“; 2. „деревянные кандалы на руки“ [SSt IV 1(20) 23]. Основные значения этой лексемы в кашубских говорах это „переносной забор, которым на пастбище огораживают овец, в особенности на ночь“, а также „движимая однокрылая стенка из соломы, которая в открытом поле защищает от ветра и дождя“¹⁷. Область употребления термина *lesica* на близлежащих к бывшему прусскому ареалу территориях охватывает северо- и среднекашубские говоры (см. карту), а в XVI в. включала в себя и окрестности Быдгоща¹⁸. По этим ареально-хронологическим показателям *lesica* весьма напоминает термин *korzkiew* (см. 1.). Однако в отличие от последнего, *lesica* в современном польском языке не ограничена рамками только кашубских говоров, а известна вплоть до польских говоров Чехословакии: *lesica* „вид лестницы, применяемой в качестве перегородки“ (Заользье) (АЖК VIII 2 95).

Таким образом, в отличие от прус. *-karkis*, где мы с большой степенью уверенности можем говорить о проникновении в прусский язык поморского слова, случай с прус. *lisytyos* и его широкими географическими соответствиями как раз может послужить примером такой ситуации, когда нецелесообраз-

¹⁶ Ср. карту распространения балтийских племен в начале XIII в., где пруссы занимают всю правобережную часть Нижнего Повислья, начиная от Торуня (К. *Būga*, RR III 739).

¹⁷ В. Sychta, *Słownik gwar kaszubskich*, II, Wrocław—Warszawa—Kraków, 1968, 358.

¹⁸ Н. Popowska — Taboriska, Ук. соч. 282.

но ставить вопрос о дифференциации лехитских заимствований прусского языка на поморские и польские [см. 0.2. (2)].

3. Прус. *pastowis* E. 456 „laken“, т. е. „тонкое сукно“. Полагают, что это слово происходит из польск. *postaw* „ganzes Stück Tuch“ (Endz. 220), „kawał sukna określonej długości“ (Mil. 33).

В „Старопольском словаре“ термин *postaw* не зафиксирован, а в доступных нам диалектных лексиконах *postaw* как название „готовой продукции“ не встретилось. Ср. *postaw* w tkactwie wiejskim znaczy osnowę, czyli w płótnie przędzę podłużną w przeciwstawstawienu do poprzecznej, zwanj wątkiem¹⁹. Именно в таком значении представлен названный термин и в специальном исследовании Б. Моцарской — Фалиньской²⁰.

В говорах Вармии и Мазур — южной окрестности бывшего прусского ареала — существуют две родовые формы названия пряжи, „идущей вдоль“ в ткацком станке: к востоку от линии Мронгово — Пиш — *postaw* (см. карту), к западу — *postawa*²¹.

Прус. *pastowis* — это существительное мужского рода, и потому любопытно, что в варминско-мазурских говорах, территориально ближайшей к помезанскому диалекту оказывается форма не *postaw* (муж. р.), а *postawa* (жен.р.). На это стоит обратить внимание, поскольку, например, Т. Милевский в прусско-кашубском сопоставлении принимал в расчет и аргумент общности грамматического рода [см. 0.2.(3)].

Однако более существенным в данном случае оказывается само наличие варминско-мазурского соответствия прусскому славизму. И это оттеняется тем, что в кашубских говорах не зарегистрирован термин *postaw* (*postawa*) в рассмотренном выше значении²².

В связи со сказанным следует заметить, что если представленная таким образом география слов хотя бы в грубом приближении отражает и лингвогеографию прошлых веков, то прус. *pastowis* может быть свидетельством проникновения лехитских слов в прусские говоры „прямо из Польши через Поозерье“ [см. 0.2. (5)].

4. Прус. *ratinsis* „kette“, т. е. „цепь“, дважды приведенное в Эльбингском словаре (368 и 540), еще А. Брюкнер определил как несомненное заимствование из польского *rzeciądz* „то же“, где *s(z)* передает польск. *dz* (Brück. 498).

¹⁹ J. Karłowicz, Słownik gwar polskich, IV, Kraków, 1906, 285–286.

²⁰ В. Мוצарска — Фалиńska, Słownictwo Warmii i Mazur. Uprawa i obróbka lnu, Wrocław, 1959, 48 и др.

²¹ Там же, № 26.

²² В. Sychta, Ук. соч., IV 146.

Древнейший польский текст, содержащий слово *rzeciądz*, — это Библия королевы Софии (1455 г.) — памятник, который только на полстолетия отстоит от Эльбингского словаря. Правда, до фиксации в этом первом письменном документе балтийских языков термин **řet'ez* был известен пруссам в течение уже свыше ста лет — заимствование произошло перед концом XIII в. (Mil. 55).

Современное польское литературное *wrzeciądz* „засов, цепь (у дверей)“ как позднейшее (фиксируется с XVI в.) расширение формы *rzeciądz* противостоит в диалектах последней, более старой форме. И здесь очень характерно то, что все три диалектных источника, из которых Я. Карлович в своем словаре привел форму *rzejcuz* (*rzecoz*, *recuz*) — Гильфердинг, Поблоцки, Рамулт²³ — это материалы кашубских говоров! Подтверждает названную кашубскую лексическую черту и новейший словарь Б. Сыхты: *řecqž* (варианты *řejcuž*, *řecuž*) „łańcuch używany do wiązania bydła“ (спорадически всюду)²⁴ (т. е. в области кашубских говоров. — А. Н.).

Остается добавить, что имеется топонимическое доказательство употребления термина *rzeciądz* (по крайней мере в прошлом) и в говорах южных соседей кашубов. Так, пункт № 183 „Лингвистического атласа кашубщины и соседних диалектов“ — это *Raciąż* (повят Тухоля)²⁵, который в исторических памятниках называется *Recins*²⁶.

На территории, граничащей с южной окраиной бывшего прусского ареала, записан единственный пример этого термина, однако в более новой форме — *wrzeciuz* „дверная скоба“ (Сарнув, повят Нидзица)²⁷. Интересно, что такой же вариант рассматриваемого слова (т. е. с начальным *w-*), встречается в записи в Блоньской книге 1537 г. (Блоне — местечко к западу от Варшавы. — А.Н.) и в Варшавской книге 1550 г. — соответственно: *s wrzeciadzem* и *wrzczyądza* „то же“²⁸.

Рассмотренные факты как будто бы исключают возможность южного пути в Пруссию праформы прус. *ratinsis* и делают весьма вероятным предположение о западном, т. е. поморском происхождении прусского слова.

²³ J. Karłowicz, Ук. соч., VI (1911) 166.

²⁴ B. Sychta, Ук. соч., IV 382.

²⁵ AJK, tom wstępny, 1964, 137.

²⁶ Zd. Stieber, Stosunek kaszubszczyzny do dialektów Polski lądowej, — Konferencja pomorska (1954). Prace językoznawcze, Warszawa, 1956, 47.

²⁷ J. Siatkowski, Słownictwo Warmii i Mazur. Budownictwo i obróbka drewna, Wrocław, 1958, 69.

²⁸ Там же.

5. Прус. *rūkaī* (им. множ.) „Энхиридион“, Д37, 12 „Kleyder“. Это прусское слово из памятника, изданного в 1561 г., А. Брюкнер объяснил как польск. *rucho* „одежда“, частое в памятниках XV в. (Brück. 501).

В современном польском языке известна лишь производная форма от *rucho* — *ruchna* (*plurale tantum*) „одежда, старая одежда“, компактно выступающая в кашубских говорах (см. карту) — и только. Кроме того, Я. Карлович привел пример употребления *ruchno* „то же“ из Земли Добжиньской (АЖК I 2 64), т. е. к востоку от Торуня.

Прусское слово интересно уже тем, что оно представляет более отдаленный от польского лингвистического массива самбийский диалект прусского языка. В этом случае изучение возможных путей распространения заимствования значительно усложняется. Отмечая типичный для польско-прусских языковых связей характер ареала *ruchna/ruchno*, мы вместе с тем должны воздержаться от предположений о возможном его отношении к самбийск. *rūkaī*: для этого необходимо сначала узнать, как давно появилось на Кашубах рассматриваемое производное образование от *rucho*.

6. Прус. *scabs* (ошибочно написано — *stabs*) Е. 680 „Schöps“, т. е. „баран“, что происходит из польск. *skop* „выхолощенный баран“ (Endz. 248). Специальная карта „Малого атласа польских говоров“ показывает, что форма *skop* распространена по всей северной, а также западной окраинам коренных польских говоров²⁹ — (см. частичное отражение этого ареала на карте в тексте данной статьи). Важным дополнением к сведениям атласа является написанная на материалах говоров Вармии и Мазур монография Г. Городыской о животноводстве, где основной вывод по интересующему нас вопросу заключается в следующем: „В восточных Мазурах нет отдельного названия для выхолощенного барана, зато в Вармии, в поветах Оструда, Нидзица и Щытно наряду с общим названием *baran* известен также общепольский *skop*³⁰. Этот тезис автора нашел свое отражение на специальной карте³¹, основная изоглосса которой учтена и в иллюстративном материале нашей статьи (см.). Оказывается, что именно в той части варминско-мазурских говоров, которая примыкает к бывшему ареалу помезанского диалекта прусского языка (с его названием *scabs*) и употребляется термин *skop*. И хотя последний в масштабах всего польского ареала имеет, в основном, не лексические, а только фонетические оппозиции, тем не менее в конкретных условиях польского погра-

²⁹ *Mały atlas gwar polskich*, IX 1, Wrocław—Warszawa—Kraków, 1966, № 434 (далее—MAGP). К югу от этой изоглоссы употребляются другие фонетические варианты названного термина — *škop*, *škop* (см. там же).

³⁰ Н. Городыска, *Słownictwo Warmii i Mazur. Hodowla*, Wrocław, 1958, 12.

³¹ Там же, № 3.

ничья с бывшим ареалом прусского языка он позволяет предполагать, что на данной территории существует непосредственное продолжение древнепольской лексической традиции, которая где-то около 1400 г. была запечатлена в Эльбингском словаре прусского языка.

7. Прус. *wumbaris* E. 556 „Eimer“. А. Брюкнер выводил эту форму из нем. *Eimer* (Brück. 502), Я. Эндзелин — из древнепольск. **wąbor* = чешск. *úbor* (Endz. 277), Т. Милевский — из польск. *węborek* „ведро“, что происходит из нем. *Eimer*, а последнее — из греч. *ἄμφορεύς* (Mil. 33). Точнее, прототипом польского слова является древневерхненем. *ambar* и древнейшая фиксация такого заимствования относится ко времени около 1500 г. (АЖК II 2 139).

Ареал польск. *wębor* и производных от него образований со значением „ведро“ имеет четко выраженную западнопольскую ориентацию (MAGP XIII № 597). Северная часть этого ареала, с юга и запада охватывающая бывшие прусские земли, представлена на нашей карте.

Основная проблема, которая возникает в таком случае, это лингвистическая география заимствования, распространяющегося на территориях смежных языков. Отношения в этом аспекте немецкого, польского и прусского языков, по-видимому, не всегда определяются их взаимным алфавитным порядком следования друг за другом.

Так, например, наряду с мнением о прус. *solthe* E. 344 „wecke“ (= „клинообразное отборное печенье“) как заимствовании из польск. *całta* „печенье“ (Endz. 252; Mil. 32) высказана и мысль о разных источниках заимствования этого термина в древнепольском (средневерхненемецкий) и прусском (восточносредненемецкий) языках³².

8. Подводя итоги, следует отметить, что зафиксированные изоглоссы польских соответствий прусским славизмам проходят с северо-востока на юго-запад, сгущаясь в Поморье, на территории кашубских говоров. Сказанное относится к таким лексемам, как *skop*, *wębor(ek)*, *ruchna*, *korzkiew*, *lesica*. В окрестностях бывшего прусского ареала все они в приведенном порядке следуют друг за другом, как бы убывая в направлении Балтийского моря.

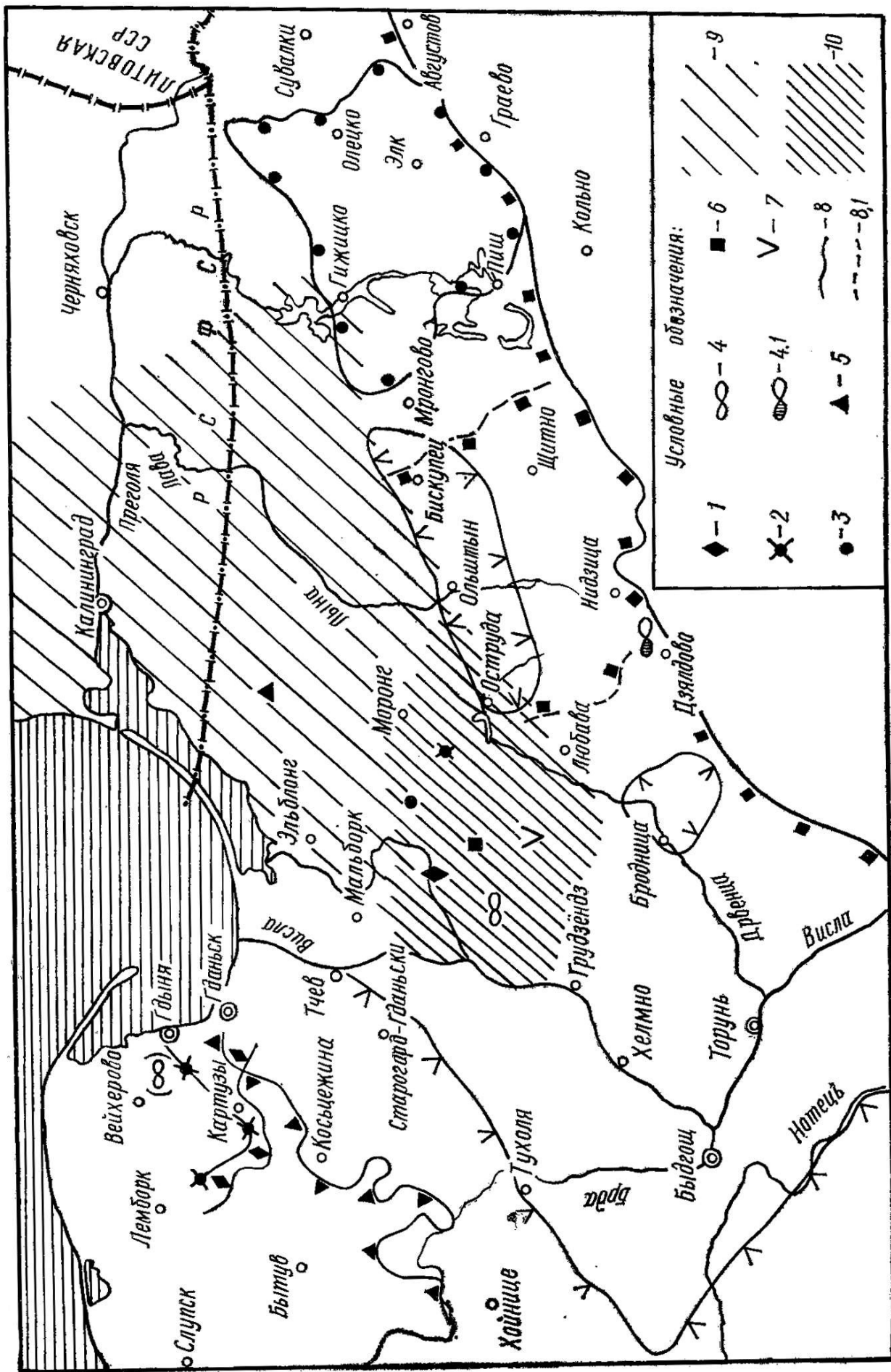
Несколько в стороне остается мазурский ареал термина *postaw*, однако следует иметь в виду, что его другой родовой вариант — *postawa* известен по крайней мере до линии Оструда — Дзялдово (см. карту).

Наконец, лексема *rzeciądz*, распространенная в этом варианте в кашубских говорах, к сожалению, осталась вне программы кашубского и общеполь-

³² J. Siatkowski, Wpływ poszczególnych dialektów niemieckich na język polski, — SFPS 7 (1967) 44.

ского лингвистических атласов и потому ее локализация в некоторой степени является условной.

Лингвистическая ценность рассмотренных изоглосс различна, и, очевидно, чем шире география слова, тем слабее доказательная сила современных данных для восстановления картины древних польско-пруссских диалектных отношений. В этом плане — с учетом исторических и иноязычных материалов — наиболее значимыми представляются нам термины *korzkiew* и *rzeciądz*, которые, по-видимому, можно отнести к поморскому слою славянских заимствований в помезанском диалекте прусского языка.



Карта. Прусские славизмы и их соответствия в кашубских и варминско-мазурских говорах польского языка.

Условные обозначения лексем на прилагаемой карте (семантику слов см. в тексте):

- | | |
|--|---|
| 1 — прус. — <i>karkis</i> , польск. <i>korzkiew</i> ; | 8 — изоглосса (в сочетании со знаком 1—3, 5—7); |
| 2 — прус. <i>lisytyos</i> , польск. <i>lesica</i> ; | 8.1 — граница исследованного ареала (левая) и явления (правая) (в сочетании со знаком 6); |
| 3 — прус. <i>pastowis</i> , польск. <i>postaw</i> ; | 9 — бывший ареал прусского языка; |
| 4 — прус. <i>ratinsis</i> , польск. <i>rzeciądz</i> ; | 10 — бывший ареал помезанского диалекта прусского языка. |
| 4.1 — польск. <i>wrzeciuz</i> ; | |
| 5 — прус. <i>rūkai</i> , польск. <i>ruchna</i> ; | |
| 6 — прус. <i>skabs</i> , польск. <i>skop</i> ; | |
| 7 — прус. <i>wumbaris</i> , польск. <i>wębor(ek)</i> ; | |

Круглые скобки (в сочетании со знаком 4) обозначают распространенное, но не уточненное по местностям употребление данной лексики в кашубских говорах.